

Дмитрий Таргаскин



Осаба ВЕСЕЛЫХ
ЗАБЕРЕТ БУДОЧНИК

СОДЕРЖИТ
НЕЦЕНЗУРНУЮ
БРАНЬ

18+

Дмитрий Александрович Тардаскин

Особо веселых заберет будочник

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=30090374

SelfPub; 2019

Аннотация

Все слова уже сказаны. Все сюжеты написаны. Каждое слово – цитата. Цитата про тебя. Про твою жизнь. Про твой детский животный страх, юношеское бесстрашие и взрослую бессмысленность. Кто ты? Для чего? Готов ли подавиться отсылками нечитанных книг, недосмотренных фильмов, неизвестных тебе песен? Готов ли прочесть о самых страшных своих поступках, которые проделывал сотни раз внутри собственной головы? Взгляни со стороны – сколько в тебе от зверя. Хочешь увидеть? Решай сам. Содержит нецензурную брань.

Содержание

Проложек. В дебри	6
Бояка бабаек	8
Заросли	10
Ленинский С	16
Маразматы	18
Удавленник и вскрытый	20
Яга	23
Uninstall	26
Жуир	30
Залепень	33
Корчи	35
Впопыхах	42
Пичальки	49
Проходимцы и куплетисты	53
Конец ознакомительного фрагмента.	57

*Но этот город с кровотокающими жабрами
надо бы переплыть...*

А время ловит нас в воде губами жадными.

Время нас учит пить.

Александр Башлачев

Посреди одинаковых стен,

В гробовых отдаленных домах,

В непроглядной ледяной тишине...

Долгая счастливая жизнь.

Егор Летов

А я уже, похоже, не могу молчать —

От молчания лопается кожа на плечах.

Забываю знакомые имена.

Ощущение «под» превращается

В ощущение «на».

Дмитрий Озерский

Железные скобы вбиты в крылья,

Источник задушен золотой пылью,

Закрой за мной, я не вернусь.

Борис Гребенников

Кузова без души, или души без башен.

Вот такой расклад, такие дела.

Константин Кинчев

Живи да радуйся, в общем – танцуй вальсами,

Но кто-то трогает мое сердце пальцами.

Андрей Бледный

*А люди здесь живут и умирают,
И, молясь, не понимая
На кого охотиться теперь,
Когда смеется задыхающийся зверь.*
Глеб Самойлов

Проложек. В дебри

Закатило Дурня в лес. По самое горло. Надавило ветвями на глаза шальные, дурные. Рвет рубашонку тропой непролазной. Лезет на всякий огонь, а как ни огонь, так всё не люди вокруг него ночь коротают – черти. Бросается в каждый хоровод, опомнится, а водят его не ветры вольные – утопленники. В какую сторону не свернет, обратно леший возвращает. Измаялся Дурень. Угорел от тоски изнутри выжирающей. Кинулся он тогда оземь и стал видеть строже, злее. И видит, не лес то, а целый город подмастерьев кишечных. А кишечные подмастерья, трубочками табачок сглатывая, смотрят в сторону грубо случившегося, дерзновенно – произошедшего. Хрустят суставами, щелкают зубами. Счастья поджидают подворотню – неожиданное, долгожданно – ненавистное. Переминаются, топчут грязь валенками истасканными. Побаиваются солнышка осеннего, ни кому не дружественного. Копшатся в животах. Хитросплетенные, паром исходящие подмастерья кишечные. Бабочки бывшие. И плетут они сказки страшные. Пошивают сказкам страшным рубахи, собирают их в путь, и отправляют по деревьям ночным, городам беспокойным. Нести тревогу человеку. Кто тревожен – всегда при деле: ищет успокоения душевного. Залюбовался Дурень на дело их благородное, и, поприкинув, давай поклонны бить и во все колокола валять. Так и так, мол, Кишки,

хлеб-соль вам. Возьмите меня конвоиром – сказки страшные по городам и весям доставлять. Службу, дескать, нести буду исправно и каждому смертному, по мере сил, кишки от беспокойства сведет. Почесали тогда подмастерья проплешины своими шестью лапами, собрали трав лечебных и сухарей в путь Дурню и отправили его конвоиром. Страх и беспокойство добрым людям доставлять. Чтобы не кисли они на печках. Чтобы не гасла в их окнах лучина. Чтобы не вселялось в их уклад житейский равнодушие. Затянул Дурень поясок потуже, укрепил на спине туесок покрепче и втопил тропой метафизики, разноцветные треугольники пыли разбрызгивая от скорого шага.

Бояка бабаек

Он лежал в своей комнатенке, намертво укрывшись одеялом. Под его кроватью, а он знал это наверняка, затаилось невероятно злое нечто. Некоторые храбрецы нарекают его «бабайкой». Но какой там! Это же самый настоящий Бабай! Страшенный, сука, и злой. Сидит под лежбищем и ждет, когда нога опустится или рука, во сне, нырнет в пространство Темноты. Чтобы откусить и сожрать. Если сильно ответственно прислушаться, можно различить среди ночных звуковых фантомностей – фантомасностей ЕГО дыхание. Ожидающее дыхание.

Как назло, шибко хотелось в туалет, а эта тварь досиживает всегда до самого рассвета и потом уже прячется под обои. Но он знал, как надуть чудовище. Недалеко от кровати – шкаф, между ним и стеной – табурет. Если ловко совершить прыжка точно на него, тогда можно, придерживаясь за шкаф, дотянуться рукою до двери комнаты. А там безопасный и добрый коридор. Освещенный. В комнате щупать по стене выключатель до опасного долго. Лучше не рисковать. И обратно вернуться можно таким же манером. Скачками! Он даже приободрился, нарисовав в голове такую перспективу путешествия к унитазу без риска потерять конечностей окончательно. Итак, в путь!

Осторожно поднявшись на кровати в рост, он двинулся

к самому ее краю. Она предательски корежилась под ступнями своими пружинами и предостерегающе поскрипывала. Шумела. Но его уже не остановить! Решимости полнешенек он, и жаждой к отвагам полон его пузырь. Выставив руки вперед, на манер страшно спортивного прыгуна, качнулся. Взмах! Прыжка!

А вот не обманешь судьбу – надо договариваться.

Почувствовав приземление на себя, табурет дрогнул и надломился. Ринулся рушиться ножками. Тактика трусости мотнула прыгуна вбок без возможности балансирования. С размаху захрустел головой об угол шкафа и, мотнувшись, продолжая заваливаться вниз, гулко и страшно – головой же – об стену. Повалившись, закрыл собою спасительный лучик коридорного света под дверью. Поутих.

Луна в окно выхватила скомканное тело, замершее по-над плинтусом. От головы и откуда-то из-под боку разрастались в стороны темные, жидкие наплывы. Формировались в лужи. Выхватила и, намертво, укрылась тучей.

Заросли

Литературовед Сабуров ненавидел Пушкина так неистово, что при одном только упоминании о «нашем всем» покрывался багровыми пятнами. Упомянувших покрывал сочнейшими оборотами. Нелюбовь эта была следствием разрыва с Мариночкой Беляевой, которая без ума была от творений поэта. Мариночка ушла от Сабурова тихо: без скандалов, без его истерик – все простецки: записюлька: «ухожу!», sms: «Ухожу, блять, сказала же!», пустые плечики и все.

Сабуров почти не пил. Погрустил в подопустевшей квартире, всплакнул для порядку, и... Все силы бросил на создание титанического труда по «разоблачению» творчества ненавистного ему гада – Александра Пушкина. Сутками он сидел в душных архивах и выискивал – в чем же ему разоблачить сукина сына. Через полгода Сабуров понял – зацепок нет! Никаких! Несколько неверных переводов заморских поэтов, странные подтексты в сказках... Все! За полгода! Ни единого мотива, который мог бы привести к обвинению Пушкина в плагиате или других литературных грехах не было. Бедняга Сабуров начал неистово курить, кофейничать и страдать бессонницей: его одолевала ненависть. Горы томов биографий, все виды анализа его (гения) произведений, тайные записи в бабских альбомах и еще более тайные фрагменты переписки Этого с такой же литературной шуше-

рой. Все это роилось в голове Сабурова бесконечным калейдоскопом. Казалось, этому не может быть конца, как самому мыльному сериалику. Был.

Проснулся Сабуров, как всегда, в кипе бумажного барахлища. Долго кряхтел, чесал необходимые для чесания места, бессмысленно оглядывался кругом себя и выборматывал невнятное. Очевидно проклятия. Естественно, закурил. Разбрасывая во все стороны дым изо рта, поплелся по дому. Взгляд скользнул по зеркальному отражению. Сигарета выпала из пасти... дикий крик... там... в зеркале... крик... там... сел на пол... Как?!

Все дело, что Сабуров увидел в зеркальном отражении себя, но... На щеках его царственно покоились курчавые, черные как смола БАКЕНБАРДЫ!!!

* * *

Именно так, как в бородатом анекдоте:

– Доктор, взгляните, что это у меня?

– О, Господи! Что это у вас?!

Врач был знакомым, но являлся хирургом, а не психиатром. А последний был бы не лишним.

– Это бакенбарды, – страдальчески пропаниковал Сабуров.

– Да это-то понятно! – реагировал врач. – Чего ж они так запущенно огромные? Подровняйте. Или вообще удалите.

Не идет вам, Сабуров!

– Трижды, – буркнул. – За одно только утро обривал их трижды. Как результат – вот. Они.

Хирург был стоек, не пуглив, рассудителен и опохмелен. Чуду не удивился. Заходил.

– Предложил бы аккуратно срезать, но будет уродски невероятно, – шла врачебная мысль, – Можно и того пуще, прижечь. И так тоже страшно будет. Видимо, срезать повразумительней. Но, принимая во внимание, Сабуров, что это из вас полезло диво дивное, да чудо расчудесное, оно же может и через мясо рвануть! Может ведь рвануть?

Заходил. Но уже Сабуров. Глазами.

– Что же... А как?

Доктор был врач. Поэтому начал врать:

– Неплохо было бы напасть обмануть. Не принимайте во внимание, и они отпадут самостоятельно совершенно.

– Как же я эти заросли волосатые могу во внимание не принимать? – почти завопил пациент. – Оно ж чешется все. Раздражающе действует. Как не принимать?

– Принять можно, – задумался врач. – Но с закуской обязательно. Отвлечет. И отпадут, повторяю, самостоятельно совершенно. Вам рецептика черкануть?

– Закуски то? – отрешенно пробубнил Сабуров. – Нет уж. Сам. Народными средствами.

Есть питейные заведения очень приятные, а есть отвратительные. Это когда дым коромыслом, как неотъемлемая часть атмосферы, и нецензурщина взახлеб, как следствие бедности лексикона, или совершенного владения словом. Так вот, считается, что в таких заведениях возлияния сильно помогают поуспокоить сдавшие нервы, от невероятных горей, и, свалившихся на жизнь, счастий. В одном из таких и восседал, чернея бакенбардовыми зарослями, Сабуров. Сиживал давненько. Который день. Напасть не отпадала. Она росла и чернела. Курчавилась противно и чесалась невообразимо.

Поначалу, традиций держась, пивал с шашлычками и зеленью, спустя время, традиций держась, с сигаретой и прищуренным глазом. Бормотал, ухмылялся, щупал заросшие щеки. Пытался взглядами, разными по выразительности, пробить сигаретную пелену, вслушаться в рокот публики. И вновь щупал. Пощупывал. Глотничал. Курить, пощупать. Замкнутый круг.

А еще, в едином болезненном комке, стала подкатывать поднакопившаяся злоба, На все! И про литературу вообще, и про этого потомка каннибалов в частности. Про заросли и куда-то рухнувшую, попластанную на раны любовь. Копилось. Подперевши кулаки в черные, уже порядком всклокоченные гущи бакенбардовых волос, Сабуров шумно выдохнул и вновь залил шары через глотку. Изнутри отозвалось чем-то похожим на треск. Прислушался. Все верно. С трес-

ком перли все новые волосья. Глаза вовсе сощурило от боли и ввергнутого в организм. Тяжело толкнувшись вверх, Сабуров поднялся и, яростно раскачивая пол, двинулся в сторону центра. Припадал на непослушных ногах. Взор был стеклянен. И туп. Или уже равнодушен. Ухмылялся чему-то. Страшно. Казалось, все замерли в ожидании свершения задуманного Сабуровым. Поутих гул: не так шумно бубнили вокруг. Наблюдали будто. На деле-то, всем заглушающим алкоголем организм было решительно фиолетово на этого обросшего мужичонку. Признаки живого интереса праздный народ проявил лишь тогда, как Сабуров, оказавшись у бара, грянул стихами Пушкина по помещению. Читал скверно, но много и наизусть. Сначала «Пирующих студентов», затем «Вольность» и всю любовную лирику, ненавистные главы из «Евгения Онегина» и всю кучу «Повестей Белкина». Добил полной версией «Капитанской дочки». И заплакал. А хмельная публика обрукоплескалась. Потому что заткнулся.

Сиживал на скамеечке с каким-то пойлом в руках, продолжая подрагивать от слезы и курчавиться от бакенбардов. Взгляд блуждал. Грудь дышала рвано, с прострелами. Вычитавши из себя накопившееся, Сабуров стал безразличен к уникальному изыяну на своем рыле и наплевательски относился к предполагаемому предстоящему. Зафиксировавшись очами на самой верхушке девятиэтажной постройки

для человеческих судеб, заросший сразу как-то подтянулся, заволновался и заглотал содержимое бутылки. Поднялся со скамейки не то, чтобы решительно, однако, довольно сносно. Принялся вновь ухмыляться и брести к цели.

А дом, в крышу которого метил Сабуров, стоял себе окутанный тяжелой уже ночью. Иногда пощелкивал, вспыхивая глазницами окон, иногда постанывал женскими глотками и плакал младенчески. Ему и дел то до бултыхающегося по пожарной лестнице самоубийцы не было. У него своих под потолок. Выше крыши – это уже проблемы небес.

Ленинский С

Иван Карлович ругался глубочайше – басом, но не переходил на визг. Это означало, что расположение духа его было ни к черту. В приятном расположении он любил повизжать.

– Это же где ж видано, – глубочайше-басом, – чтоб взять так и наплевать на субботник?! Пока все с ума сходят, листья кучками возводят, он – что? Он – домино. Это же, как же?

Отчитываемый Иваном Карловичем товарищ Тирин, самозабвенно выстраивал на морде рожу, близкую по духу ангелам небесным. Получалось сильно про смех.

– Мария Артуровна, – глубочайше-басом, – почтенного стажа человек, кувыркается по территории организации, как проклятая, с граблями. Он – как? Он в тенечке. Это ли верно ли?

Тирин совершал попытки поддакнуть, но не мог найти паузу в монологе, чтоб вклиниться удачно.

– А надежд на него повозлагали! – Иван Карлович. – Регалиев повесили. Он? Что ж ты, Тирин? Это жиж где жиж оно видано?! Может тебе есть чего понаскзать-то?

Тирин обдумал выше произошедшее, ринулся в карманы брюк, извлек оттель доминошину, размахнулся и точнецки попал ею в ротовую полость Иван Карловича.

– Рыба. – Тирин, интонацией, похожей на глубочайший бас.

В дверь.

Маразматы

Жил-был дед. И было у него две мухи. И так они этого деда по ночам измучили, то там сядут, то тут, что он до срока взял, да и помре.

Жил-был дед. Еще. Сильно тот дед любил рассолу капустного поиспить. Обдуется его до «Бог ты мой», и сидит, думает про всякие расширения огорода.

Еще дед тоже жил да был и дуже хотел африканских людей вживь поглядеть. Мечтал аж. Тут горел, как назло, в деревне дом. Все сбежались. Кто смотреть, кто плакать, а кто и помогал сдуру. Из пламени спасались самостоятельно два мужика и, как есть, в огне, наружу вон. Мать-перемат, кожа пузырится, обугливается.

– Африканские люди, – тычет пальцем дед. И помре.

А один дед так вообще жил со старухой. Очень он этого стеснялся. Да и она. Как не сядут ужины потчевать, так сидят и стесняются дружку-друга. Спать случиться – мука адская. Замрет дед на лавке, лежит и стесняется, а старуха, на печи затаившись, на краску исходит. Так в неведении и помре.

Еще одни тоже жили под логотипом деда да бабки. Охота им было колобка, а выходили все одне дети. Лавки попере-заполнили, места живого лишились – нетути колобка. А охота ж! И уж по-всякому пробовали. Куда! Дети и все тут.

– Можа мы как-то не так пробам? – дед то.

– А как еще?! – бабка строго. – Из муки что ли?

Сказку ту, про говорящий кусок теста, не придумали еще не один. Оттого так сложно было деду да с бабкой согласия снискать. А тут еще этот треклятый маразм. Куда!

Удавленник и вскрытый

Ударцев вскрыл вены в коммунальной ванной. Хотел в тазу, да уж больно тянуло поиздохнуть назло. Наполнил емкость. Улегся в нее. Рванул бритвой. Забылся.

Очнулся от невероятной легкости. Вылез. В дверь колодили.

– Напился и уснул там! – комментарий для коридора из-за двери.

Обернувшись, Ударцев посмотрел на себя, погруженного в буро-красную жидкость. Мерзкая смерть. Дверь поддели с петель, дернули в сторону, зашумели, заохали. Он обошел столпившихся, удалился на кухню.

Из окна осенний двор чернел сумерками. Кто-то буйствовал речами, заплетая упортвейненным языком мысль. Над кухней, этажом выше, кто-то бил или насиловал женщину. Иных поводов так орать не выискивалось. Но было плевать. Хотелось смотреть в окно.

Разрывали телефон. В милицию! В скорую! В ЖКХ: комната освободилась! Родственникам: комната освободилась! Закипели нервами, задергали кадыком – пустые фразы, бессмысленное сожаление. Все уже произошло.

– Ударцев.

Обернулся.

Из своей комнатенки выглядывал Головин.

– Чего орут?

– Я вены вскрыл. Помыться им негде. То и шумят.

– Зайди.

Пройдя в комнату, Ударцев увидел Головина висящего в поспешно изобретенной из бельевой веревки петле. Лицо было обезображено судорогами.

– Видал? – Головин хохотнул. – Прибрался я.

– Давно? – Ударцев непроизвольно потер шею. Заныло в руку.

– Да с час. – Головин, болезненно улыбаясь, диким взглядом рассматривал висящее в петле. – Думал, язык откушу. Нет. Глянь!

– Водки бы, – гость уселся на отброшенный табурет.

– И ведь как повезло! Данилыч даже не зашел. Успел. А так, выдернул бы, ты что-о-о!

– Повезло, – согласился.

В комнате пахло шиповником и мятой – заварник на подоконнике еще не успел окончательно остыть, источал аромат. С обстановкой запах не гармонировал. Головин уткнулся в газету на столе, заваленную рыбьими объедками, громко вычитал:

– Куплю коня! О, кто-то отчаялся.

– Почему отчаялся?

– Коня держать! – Головин прикрикнул, – шутка ль в деле? Это сложно! Это... ты что-о-о! Да не приведи, Господь!

– Кони... Им воля нужна. Безволие – духота. – Ударцев

почернел лицом. – Впрочем, касательно звезд...

В ослепительной паузе ничего лучше, нежели уставиться в оконный проем, оба не выдумали. Долго молчали. Слушали рокот коридорной суеты. За окном мелькнули габариты 02, 03. Быстро. Оперативно и ненужно. Где-то постукивало, отскрыпывало половицами, разламывалось на созвучия. Квадрат окна веял спокойствием. Почувствовали.

– Я тоже хотел в окно, – выбросил общую мысль Головин. – Не смог. Открываю, мурашки по коже. Страшно. Высоко.

Ударцев приложил ладонь к стеклу. Оно ответило прохладой и тоже почернело.

– Касательно звезд...

Пространство сжималось и разжималось, пульсировало, набирая в себя фантомный звук прерывистого дыхания. Голоса становились глуше, стали искажаться.

– Куда нам? – безразлично Ударцев.

– Вон девятка напротив, там где баба на балконе стоит. Оксанка Ляпишева. На той неделе газ открыла на кухне, легла и... Туда.

Они чуть подались вперед и оказались на улице.

В комнату заглянула бабья голова и истошно разодрала квартиру криком, увидев висельника.

Яга

Яга жрала Ванюшу. Удалось-таки кровожадной людоедке подкараулить несчастного сорванца в чащобе. Оглушила метлой по головенке, сунула в ступу и, стремяглав, в избушку. Натерла солью, пряностями... Изжарила. Сидела и жрала.

Вокруг стола суетился котейка. Хвост его дружелюбно вертели нервные тики. Ждал костей. Возможно, иные кошки и не жрут кость. Кот Яги жрал. Все.

В углу избушки умиротворенно мудрствовала змея, коей не было дела до столь кровожадных трапез. Она питалась иначе: долго выползывала жертву, волка или кабана, затем яростно-быстро заглатывала целиком. Копошиться с кули-нарией ей было не с руки. Не было у нее рук.

Самой нейтральной представительницей избушки являлась сова. Она редко возмущала общественность сигналами собственного звучания, и вовсе не подавала признаков жизнедеятельности. Оттого, никто в избушке даже не догадывался, что с ними живет еще и сова.

Яга жрала смачно: уж слишком много крови попортил ей этот вечно болтающийся по лесу выродок. Ванюша шатался по дремучему и жрал все подряд. Дошатался. Дошарохался. Тупые барские отпрыски доставались старухе, как правило, легко. Этот же был из крестьянской семьи, а значит бедный на одежку и богатый на изворотливость. Долго водил

он Ягу за нос, но прокололся. Вернее, проткнулся: наступил на волчий капкан.

Яга была уже очень стара, и в ее памяти многое ушло в небытие. Рот ее постоянно извлекал на свет совершенно невнятные бормотания, свисты и хрипы. Членораздельно говорить старухе было не под силу, не о чем, да и не с кем. Котейка знал лишь пять сильно матерных оборота, которым научился у Ивана-Дурака: Яга жрала его пьяного и живьем. Матерился Дурак до последнего.

Как прошло ее детство, молодость, зрелость Яга не помнила. Были ли у нее дети, мужья, какие – либо до проникновения родственные связи – тоже не могла оживить в воспоминаниях. Всплывали только кровавые полотна: испуганные лица ребятишек да завывание зимней вьюги в ночном лесу. Взгляд ее давно уже потускнел дожелта, зубы – дочерна. Беспощадная, холодная до человечности старость не пожалела и ее, страшную убийцу-людоедку.

Некрасиво шамкая мясо, Яга вдруг неистово выпучилась, затрясла головой, невнятная дробь слов стала чаще и отчаянней. Ее стало клонить вниз, судороги начали колотить старуху страшно. Котейка, поджав хвост, принялся выть волком. Змея продолжала умиротворяться, но внимала. Гулко хлопнув от тряски, под Ягой разломился стул. Она рухнула на пол, брызжа пеной. Скрюченные культы рук пытались дотянуться до метлы.

Еще несколько судорожных толчков и старуха затихла.

Лес, принимая очередную смерть, тоже стих, но лишь на миг.

Ванюша, до гибели, шатался по дремучему и жрал все подряд. Попадались и яды...

Uninstall

– Разговариваешь ты шибко! – Иван затянулся тоненькой сигареткой-зубочисткой, рек: – Я от блокпоста до Припяти пробегая за десять минут. У меня там уже норы свои! А ты восседаешь у монитора, рыло свое пялишь туда тупо и сохраняешься каждую минуту. У тебя уже палец под F5 сформировался!

Валерий вымолчался до предела необходимой в ситуации паузы, сглотнул обиженную слюну. Бесцветным голосом:

– Зато я по уму игрушку прохожу. Как в жизни чтоб. Иду медленно, с запасами. Мертвых не обыскиваю.

– Да это фишка игрухи, тыква! – Иван неинтеллигентно. – Это ж специальная тема – трупняк шмонать.

– Трупняк шмонать! – Валерий презрительно сощурился всем лицевым существом. – Слышали бы тебя при советской власти.

– А тебя, при советской власти, грохнули бы нахер. Во время военного положения ходит, цветочки рассматривает. С запасами...

– Не сочти за грубую лесь, но ты – гондон! – побагровел.

Мимо их скамеечки проползла грузовая «Газель», в кузовных недрах коей залихватски красовался комодец о красного дерева. Под старинный. Классическая бессмысленная паника кусок времени – всё: кантовать.

– Корнилову с восьмидесятой, – Иван подкурился новую зубочистку. – В комп резаться не может, тащит в дом всякие артефакты.

Валерий призадумался. Порассматривал пальцы, шумно повздыхал, окинул глазами двор.

– Зато помрет – людей не стыдно будет в квартиру запустить, – выдал.

– А кто к нему пойдет-то?

– А к нам кто, Иван? – спокойно, но с жаром в тексте. – Продавцы из нашего салона? Диски позаберут и все. Так и будем там валяться по берлогам. Пока кто-нибудь типа тебя не явится!

– Зачем? – действительно не понял.

– Трупняк шмонать!

Заржали.

Легчайшей трусцой прошелся по-над детскими площадками мать-перемат: сгружали комод. А как? Без словца-то...

– «God of War» третий прошел, – с нотками для гордой информации выговорил Валерий.

– А, – отмахнулся. – Мясо тупое. В старые игры нужно гамать, в древнейшие, с мощным сценарием. Как у тебя «Silent Hill» второй продвигается например? Разобрался, как устанавливать? – смешок.

– На доме с привидениями встал. Там загадка эта, – Валерий помычал в воспоминании. – С часами.

– Тупень, – тяжелый оборот в беседе. – Генри – часовая

стрелка, Милдред – минутная, Скотт – секундная. Как там... Две минуты, шестнадцать секунд... Соответственно знаку на стене. На это время переводишь и все, бя. Попер дальше. Часы открыл – ключ от пожарного хода взял. Вернулся в эту... Как ее, нахер? В триста седьмую комнату вернулся, ключ от входной двери взял, сохранился. Поперся на первый этаж. Там упаковка сока. Взял! Вышел! В мусоропроводе газета и монетка. Взял. Несешься к бассейну. Воды в нем – хер, зато болтаются трое зомби. Находишь там детскую коляску, берешь в ней инфу. Домой! Идешь в сто первую комнату. Там человек. Сюжетный ролик – попиздели. На пожарную лестницу! С пожарного хода прыгаешь в соседнее окно, проходишь этот дом... Все! Уровень за плечами.

Один, не вынимая сигареты из ротовой полости, ножкой, по – блатному, удерживал домофонную дверь. Остальная братия, карачками да междометиями пихала комодца в прохладную тьму подъезда.

– Молодец! – Валерий проникся до комплиментарного характера диалога. – Зачем они только такой окрошки нарубили? По всей карте болтаться.

– Квест. – Иван равнодушно. – В сети-то глянь! Там есть, как пройти.

– Это нечестность, – Валерий деловито и с чувством глубокого уважения к авторам игры. – Самому надо допереть.

– О, как! – аж всхлипнул настроением Иван. – Сам-то ты пройдешь! Там такого нахуеверчено, пока пройдешь –

не только ноги, еще и руки парализует.

Рокот скатывающегося со ступеней комода. Рокот скатывающихся следом грузчиков. Скрип зубов.

Почти восьмидесятилетний, заслуженный работник культуры, Валерий Всеволодович Камышев, резко крутанул вбок свою инвалидную коляску, сверкнув солнцем диски колес.

– Падла! – задышал он болезненно в Ивана. – Почему ты такая падла! Зачем ты всегда, сука, ноги-то мои вспоминаешь?! Я уже даже орать не могу, обижаться уже не могу на это! Нечем! Там все перегнило от боли внутри. Нету ничего там. Пусто, бля... Мразь.

Коляска повезла своего пленника в сторону подъезда.

– Валер. Валера! – бесплотно в спину. – Прости.

Безмолвие.

– Ну, куда тебя понесло-то дурак?! – сердцем. – Как ты подниматься? Ты же никак по ступенькам по этим гребаным. Сейчас Нина уже приедет из больницы – поднимем тебя. Нина с уколов... Валера!

Дверь закрылась.

Семидесятилетний ветеран труда Иван Николаевич Дергачев, остался возле скамейки один. Водил глазами, шумно дышал. Переживал. Стыдился. Задымил очередной зубочисткой.

Куски недоставленного комодца злобно швыряли в кузов.

Жуир

Когда Влас начинал пить, жители поселка собирали документы, хватали детей и уходили в леса. Влас же, отпившись, зажигал сигнальный стог сена – люди возвращались. Было три случая, когда кто-либо из мужиков не успевал покинуть жилища и становился собутыльствующим пострадавшим Власу. Двое сошли с ума, одного чудом отлили холодной водой, но разговаривать прекратил окончательно.

– Что вы тут делали-то, Влас? Угробил мужика! – Люди.

– Жуировали. Он не смог. – Влас.

Трезвенничал Влас на мельнице. Там же была слажена и маленькая пекарня. Горячий, сводящий ароматом с ума хлеб сам носил немощным старикам, раздавал ребятишкам, притаскивал в местную лавку. Его любили невероятно. Он земляков тоже любил, оттого не искал их пьяный по лесам. В припадке алкогольного безумия – бил поросятами быков или быков об деревья, или деревьями по воде лупил. И ревел как медведь. Бессильная злоба богатыря не у дел.

– Война бы началась что ли, – причитали старушонки. – Погибает силушка.

Война началась. Влас дошел до Курска и, оставив ноги, поехал в родной поселок.

– Жуировал с фашистами. А вот, сука... Глянь! Не смог. Разлетелся на запчасти, – плакал пьяный.

Бабы и старики жалели. Ребяшня таскала ему картошку да изредка хлеб. Немцы до поселка не дошли, а вот голод добрался и остался на постой. Влас сладил себе тележку, помогал, как мог, подымали хоть какой-то урожай. Пришла победа. Власа оформили кладовщиком. Из жалости сосватали за солдатскую вдову. Та, из жалости, за него пошла. Родили девчущку. На радостях дня три жуировал в холодной бане, людей сторонился: калека. Зажил потихоньку.

Ввечеру повисли с соседом на заборе, перекуривали.

– Хоть бы в клуб по воскресеньям выходил, Влас?

– Моя ходит, – безразлично затаившись.

– Ну, сам-то чего?

– А на какой я там людям? Смех подымать? Стакан я и в бане в глотку залью, чтобы доня не видала. – Влас начал закручивать вторую.

– А Иван у нас без руки пришел! – Сосед взволнованно закашлял. – Петька баб Валин – вся спина в пулях. Ты герой для людей, а бегаешь их.

Влас больно сглотнул:

– Герой... Герой жуировать должен, праздновать! А я как падал в канаве валялся, сестричек ждал. Тошно мнеченьки, сосед. Знаю, есть люди, плоше у них судьба пошла, а вот сам тоже валяюсь по земле да ору. Жалость к себе прямо душил. И день, и через день. А силы осталось – хошь подковы гни, хошь деревья... А куда? Дальше тележки своей да этих протезов гребанных не уйти.

– Слышь, сосед, – помолчав и, резко, Власу. – Айда бутылочку посидим? Есть у меня.

Влас крепко затянулся, обстоятельно заплевал окурок:

– В избу метнусь. Огурцов малосольных...

Солнце падало в лес. В соседнем поселке кто-то поджег стог сена.

Залепень

Так назвал свою скульптуру Сом Солонкин. Пыжился чугунными подтекстами, рождал в головешке всякую заумь, но иного названия изваянию надавать не сумел. Грех, что изваяние то излепилось шедевральное – показательное, рецензий достойное и выставочно-уместное. И стали оно рецензировать и выставлять.

Покашливали, покряхтывали, румянец на щеках ссылали на ожирение. Что мы, не понимаем разве? Какая еще неловкость? Раз дадено название таковым, стало быть, задумка!

– Может быть, рабочее название есть? – культурные обозреватели умоляюще.

– Есть, – ухмылялся творец. – Сказать?

– Нет-нет, – резко бледнели лицами последние.

Экскурсии аплодировали. Женщины от восторга (шедевр ведь), мужики от удовольствия – наш. Начали мараť дипломные. Профессора лысели, но... Шедевр. Скульптуру выставляли по стране, скульптура выкатилась на плакаты и календарики, у скульптуры разрешили фотографически запечатлеть молодые пары и детей. Она мозолила глаза, она была на устах.

Искусствовед Корытников поседел, закурился, бросил спать. Он кочевал за биографией скульптуры. Он пытал Солонкина:

– Почему так назвал?! Это же эпохально! Но почему назвал?!

Создатель творения тяжело окидывал свою работу, щурился и всегда говорил:

– Она знает почему.

И надолго уходил шаркаться штанцами о подоконник, восседая на нем.

Корчи

I

Профессор Бодулин вошел в осенний лес. Деревья мирно покачивались, всюду веяло спокойствием. Тянуло в раздумья и созерцания красот нерукотворных. Листва шуршала под ногами, листва, умирая, пела свою балладу. Бодулин увидел пень. Он раскорячил свои гнилые корни за могучими, молодыми березами. Нагло и деловито. Кусок обосновавшейся трухлятины.

Гримаса Бодулина из некрасивой превратилась в омерзительнейшую. Он изогнулся, тонко запищал и прыгнул.

Молотя ножками о землю, профессор Бодулин, ломая ногти пальцев рук, отчаянно выдирает пень.

– Отсю-ю-юда! Наху-у-уй отсю-ю-юда! – кряхтел он.

Крякнув, пень поддался. Схватившись за корни, профессор поволок его вон из лесу, похохатывая и всхлипывая.

В сумеречной прохладе, пень, обильно напичканный камнями, удушливо хлюпнув, утонул в пруду.

Профессор Бодулин, возлегши на шершавом склоне, наслаждался лесом.

II

Серж воровал со стройки кирпич весьма продуманно. Один крал за пазуху, еще два мелко крошил и ссыпал по кар-

манам. Парфен воровал цемент. Съедал его по шесть столовых ложек и выносил с территории. Корней машинами вывозил бетонные блоки. Серж и Парфен ненавидели его за воровской беспредел...

III

Нашел Ванька клад. Выпучил шары: куда спрятать? Не хотелось государству отсыпать щедро. Нашел то он – Ванька, а отдавать каким – то толстопузам. Да и толстосумам. Вот и носился по поселку с болезненным видом, всюду пытался клад припрятать, даже в корову хотел засунуть. Тщетно. Больно уж на виду всюду казался кладчошко. Приехал к нему родственник – дальний и не пойми по какой линии. Вдарили горькой до провалов сознания. Спрятали. Рассветными огородами, с банкой рассолу в подарок, родственник благополучно уехал.

А Ванька забыл, куда клад перепрятали. Орал от беспомощности на весь поселок. Крушил все подряд. Даже корове навалял приличных.

– Черт это ко мне являлся. Черт! – сокрушался на родственника в сотый раз прорыскивая все окрест.

IV

В подсобке стоит таз полный аккуратно нарубленных кистей рук сжимающих рюмки. Чуть поодаль, в ведре, руки с сигаретами. Этот странный музей освещен одной лампой.

Впрочем, это и не музей вовсе. Валерий Стрижельников, владелец подсобки и автор содержимого, именует помещение «анатомическим театром педагогики». Очень он, в мечтах, нарисовал себе перспективы развития такого театра. Даже книжку прочел. К перспективам развития книжка отношения не имеет, но прочел. Приятно.

V

Вечеряли.

Никодим поперхнулся котлетовым мясом под рюмку.

Александра, супруга ему, луком всё нутро пообжечь намудрила. Кинулась запивать травму бульоном из-под пельменей, но он горяч. Дюже. Усугубила.

Вольфганг, сын им, от деревянной ложки кус зубами сломил

и занозой этой глотку угробил.

Петр Всеволодович, соседом будучи, рыжик на вилку наколол и, второпях, в нос засунул. Упал и кошку насмерть собою придавил. Сам остался лежать. Пораженный цепью событий.

Виталька, убогий местный, огурцом хрустнул аппетитно – язык обрубил. Замычал невразумительное, своё, убогое. Всё как всегда. Кровь с ошметками огурца, безумие, потеря интереса к столу.

Макар, Никодима батя, залюбовавшись происходящим, опрокинул себе на голову горшок с горячим мясом. Ударил-

ся в половые доски. Тут как тут – Полкан. Брутальный, сторожевой волкодав. Мясу был рад, заклацал голодной пастью, но и Никодиму всю рожу пообгрыз.

Парфён, Макара батя, даже не кушал ничего. Просто помер на печи лежа.

«Старинные часы еще идут», – взялась, было, Алла Борисовна, но приемник захрипел, зашумел, замолчал.

Домишко их стоял на самом краю земли. Отворачиваться от нас, Создатель начал именно с них.

VI

Тоненькие пальцы с грязью и кокаином под ногтями проникли внутрь музыкальной шкатулки. Подрагивали и ловко цепляли шестеренки, поправляя и укрепляя их до основательности. Ладони взмокли, к ним начала липнуть пыль из механического днища диковинки. Владелец шкатулки, пальцев и ладоней дышал дрожаще, ломко. Иногда с выдохом вылетали полустоны, не успевшие стать полноценными. Действовали на нервы, пронзительно такающие часы, ветка тополя, царапающая окно, хлопанье легкомысленно подчиняющейся ветру калитки, ещё какой – то непонятный и ненужный звук или отголосок звука. Солнце ползло за лес и тоже противно ломилось светом в окно.

Все шестеренки, колесики и струнки встали по своим местам. Щелкнула крышка. Механизм утонул в темноте. Тоненькие пальцы задрожали еще сильнее, пытаясь попасть

ключом в отверстие шкатулки. Еще щелчок. Ключ плотно встал в завод, начал, со скрипом, вращаться. До упора.

Сладкий стон – мычание пронёсся по дому, и фарфоровая балерина поплыла вдоль собственной себя под переливы звуков шкатулки. Тоненькие пальцы ударились в пол, дернулись, перестали дрожать, замерли. Фарфор изящной фигурки купался в свете уползающего солнца. Словно таял.

VII

Обнаженные, темные лицами существа сидят на корточках и царапают ногтями землю. Воют страшными голосами, кричат громко, дерутся, визжат, валяются в грязной жиже, протыкают друг другу ножами ноги. Днем, во время власти обжигающего солнца, рубят на огромных длинных кольях за-теси, чтобы проткнуть светило. Чтобы оно не падало в лес. Чтобы его не ждать в темноте. Выжигают огнем поля. Чтобы быть лицами еще темнее. Чтобы травы не мешали царапать землю. Чтобы грустно и страшно было глазам. Чтобы гарью пахло вокруг и черная пыль никогда не оседала на твердь. Забираются на самые высокие сухие деревья и сбрасываются вниз, в черную пустоту гари. Дух забирает от стремительности падения и запаха смерти за миг до глухого удара. Жрут вереск и чертополох, запивают соком полыни. Убивают сразу. Тупо. Страшно. Порою, просто по привычке. И продолжают вить, кричать, визжать. Всё устраивает Существо.

Они сами сделали свой мир таким.

Глупость, Дикость и Грязь стали идолами поклонения. Вера, Надежда и Любовь украшают виселицы вдоль выжженных дорог. А дороги петляют кругами.

VIII

Когда еще не придумали название коромыслу с кокошником, их называли горбатый и стояк. А бабу называли – баба. И выходила чернь на улицу, глядь, баба еле волочется с поводу: горбатый надломился, плещет назем туда да туда, стояк набекрень, а потом и вовсе упал. Страх-то! Оттого и грамоте учиться чурались. И словеса такие идиотские выдумывали. Коромысло и кокошник... Куда!

IX

Какой-то мужчина ограбил у какой-то дамочки в кошельке. Рассувамши ее копеечку по карманным отверстиям, мчался по проспектам довольный. Хотел было этот какой-то мужчина пивком воблочки позапивать на добытые денежки, но, споткнувшись, плашмя об асфальтовую твердь лицо болью исказил и порассыпал все. Поналетели какие-то мужчины, к копеечке какой-то женщины, лежавшим на тверди каким-то мужчиной у нее похищенной, поразобрали все по карманным отверстиям и ходу. Вскоре вернулись и пинка лежащему. И ходу, опять же.

«Бардак какой-то», – какому-то мужчине подумалось.
Лежа думать приятно. Продуктивно.

Х

Свой бессмертный труд о «Гаргантюа и Пантагрюэле» Рабле начал писать после того, как в его дом явились три сарделины и один колбасный сыр, которые тут же принялись склонять его к перееданию. Одна сарделина даже проткнула себя вилкой и, брызжа соком, пыталась обнажить свою душевную готовность, к тому, что ею сейчас обожрется. Франсуа был жрущим, но подавлял в себе желание наброситься на гостей. Во всяком случае – сразу. Гости наступали, расхваливая себя принесенными с собою соусами, приправами и подливами. Колбасный сыр отщипывал от себя куски и швырялся ими по гостиной, распространяя аромат недурной сырной марки. Рабле сдался и сожрал. Всех. Покончив с гостями и не сумевши остановить припадок аппетита, он ринулся в ближайшее королевство и тоже сожрал там все и всех без исключения. Позднее, в преступлениях не сознавался: говорил, что был занят, писал огромный, фундаментальный литературный труд. Труд приказали предъявить. Пришлось писать роман. Тем временем, очередная порция сарделей пересекала границу с Россией. Одну из них сожрал часовой. Уцелевшие двинулись к имению графа Льва Николаевича Толстого.

Радовались: очень ловко и празднично через другу дружку перемахивалось. Хихикали, похрюкивали, подначивали. Допрыгались. Шесть лет домой возвращались.

Каширский дернул за рукав корнета, молвил:

– Зря ты, батенька, на Измаилу Илларионовну блюдо с селедкой опрокинул, и целоваться полез. Не оценили ход мысли. Не разглядели в тебе припадок любовного жару. Действовать подобает наотмашь. Дерзновенно. Быстро. Ловко. Тем самым, не дурно бы, чтобы продуманно. Подрасчитав. Поприкинув. А то... Оно дел-то на раз... А если таким манером, то... С этими словами, Каширский прыгнул в карету. Но промахнулся. И убился. Корнет высморкался.

Арсентий Арнольдович Разминуленко потерял паспорт. И свихнулся от радости. Дудел в дуду, бубнил в бубен, гармонил на гармонике и превращался в Васю Иванова.

На детском утреннике Сереженька должен был сыграть тетерева, но переволновался и сыграл еще лисичку, кабана, волка, зайца, медведя, Иешуа, Сергея Есенина, Александра Пушкина, Владимира Высоцкого... А потом долго разорялся игрой в раздевалке. У своей кабинки. С березкой.

Костик Х вскочил на новогодний табурет.

– Адмиралом буду! – орет вместо стишков.

– Ментом будет! – сказал Иван Антонович, извлекая селедку из «селедки под шубой». – Орет противно.

– Нет. Костик будет непременно журналистом, – всплеснула Наталья Ивановна. И плеснула себе.

– Скандальным. Или аферистом: иной он какой-то, – рек Иван Антонович. Селедка не извлекалась. Раздражало.

– Партизанить должен. – воскрес дед. – Если по чердакам прятаться не будет. – И снова помер.

– Не напирайте на мальчонку! Захочет, будет сразу и ментом, и адмиралом, и журналистом. Захочет – в космос улетит, захочет – коллектором станет. Хоть кем, – кто-то.

В комнату шмыгнула маленькая Ксюха, сперла достаточно конфет, запищала:

– Глобус он у вас пропъет. А потом будет маньяков ловить!

И умчалась кататься на санках.

По перилам.

Никитка Мэ с Федькой Бээ понаделали себе ружьишек деревянных и отправились во двор про войнушку играть. Разыгрались не на шутку, детскую площадку всю оскорбили разрушениями. Никитка давай в лужах валяться сильно

и слова нехорошие всякие кричать, а Федьке в лужу нельзя: у него, после тифу, поросль на голове не восстановилась еще. Так он в сторонке и отстреливался, пока Никитка ружьишко не сломал.

– Айда, еще сделаем новое? И танк из коробки? – предложил Федька.

А Никитка, молча, поднялся из лужи, подобрал старый черенок от лопаты и пошел. На войну.

Вероника Павловна бросила курить. Но начала отчаянно жрать. Уселась на диету – нешуточно увлеклась вином. Вино мгновенно затянуло в разврат. Оставила вино, а пьяный отблеск игристых глаз оставить уже не смогла. Разврат утомил, засела зрительничать в театры. Разрывала сердце в переживаниях за судьбы героев и покуривала в антрактах, бесконечно плача. Вероника Павловна жила тонко.

Крики с хохолком (сверхмалая драматургия)

- Глаша, пышечка моя, душечка, галушек хочу!
- Ничипор, выпей взвару на травах и сосни чуток.
- Галушек!!!
- Киселю может? Или кашки? С соусом грибным, а?
- Галушек, дура старая!!!
- Арбузов ли соленых? Пирогов?

– Галушек, тварь! Галушек!!!

– Вот забранки у тебя... Наливочки может?

– ГАЛУШЕК! СУКА, Я СЕЙЧАС ВСЕ РАЗГРОХАЮ ТУТ!

– Придет сейчас мертвец деда твоего и накажет тебя за неугодные отношения ко мне, Ничипор.

– Галушки! Галушки! (исходит пеной).

– Смотри! Он уж по хутору идет.

– Маррраааа... Маррррррраааа... (бьют судороги, исходит пеной).

– Смотри! Во дворе уж мертвец!

– Ннныы... (страшные судороги).

– У порога уж, Ничипор, мертвец страшный! Сейчас он. Сейчас.

Мертвец с черным лицом с воем вваливается в горницу и загрызает Глашу. Варит галушки. Ничипор ест. Мертвец уходит.

Светает.

За лесом слышно как падают Владимиры Ленины.

Пошел раз Вишнин последнее ведро картошки на самогонку выменять. Заплутал и запетлял дворами. Увидал за сараями церкву, отправился туда: обратную дорогу сориентировать да молитвами прощений выпросить. Вышел. То не церква вовсе, а монастырь. Так там и остался.

У Петрухи был кот без названия. Некогда было имя давать. Петруха рыл пруд. Споро, заинтересованно, в охотку. Сам. А потом запустил туда малька: лещика, карпика зеркального, щучку. Прикармливал, удобрял, следил за температурой воды и её уровнем, высаживал водоросли, прореживал их – его кухня. Ходил кругами, ухмылялся, попыхивал трубкой.

И вот он! Момент душевного восторга. Уселся на складной стульчик и едва слышно булькнул поплавком о гладь пруда. Навытягивал добрых, мускулистых, радующих рыбацкий глаз.

Подсел кот.

– Тебе был свыше улов дан, – говорит. – Потому что я за тебя радел и верил в твои начинания. И просил за твою благодать. Лучшие куски ты обязан отдать мне. Как ближне-му своему. Чтобы не отвернулась от тебя удача – кормилица в промысле, или же чтобы проклятие обделенных ниспослано на тебя не было.

И начал лизать яйца.

Митрополитом Василием назвал Петруха кота. Имя дал. И пинка.

Васька Каралькин силачом работал. В цирках. Силы пока-

зывал. Подковы гнул всамделишные. А Машка, квартирантшица Васькина, работала нигде. Но веревки из Каралькина вила – ни один силач бы так не сумел. А он сопел, и в суп перца добавлял. Любил Машку. А на работах потом людей напололам рвал, чтобы на Марии не выместить. Хрупкая она была. Боязно было ему.

– Барышня ведь, – говорил он.

И спал отдельно.

От Архипа Власовича объект любви ушла сильно навсегда. Он, злостью напившись, стал друзьям про неё сочинять, что она цыплят живьём ест и мёдом себе промежду ног намазывает. А ещё, ко всему, начал склонять их напиваться некрасиво и ездить ей морду бить. Зато в клюкве Архип Власович разбирался – сил нет, какой умничка!

– Зачем вы женщину сапогами по рылу-то? – скручивая в каральку горемык, вопрошали городовые.

– Архипу Власовичу в солидарность, – сплёвывая кровь шумели насильники. – Случись весна, не дай Бог. Кто нам тогда клюквы хорошей поподскажет?

Да и то так.

Пичальки

I

Вышел человек на морозец утренний. Улыбнулся ему раз-машисто. Тут-то у него, от него, вся рыла и полопалось.

II

Играли в карты «на олень». Обычные правила для «в ду-рака», но проигрыш горше. Петр Павлович играл вяло. Не огрызался и не суетился. А чего уже суетиться? Двадцатикратно – олень...

III

Во время драки, Василий вспомнил все, чему учил его отец. Но умение коптить свиной окорок ему никак не пригодилось. Начал тупо вспоминать парное молоко. До крови.

IV

У Корниловых пианина появилась. Так они, на ноябрьские, все пальцы в доме о клавиши попереломали и даже крошку не доели. А ее многовастенько оставалось. Пропала.

V

Воронцов гонял жену по улице топором – валенки поте-

рял. Пимы. Ноги застудил. Ноги отняли. Сейчас гоняет жену на коляске. С топором. Постоянно настигает теперь и травмирует. А не надо было мужика изначально до потери обуюток изводить своими изменами. Она, правда, редко изменяла. Но сильно.

VI

Они уже четвертый день стрелялись на дуэли. Никак не могли попасть. Секунданты загуляли и, время от времени, плевали в дуэлянтов с досадой. Иногда попадали. Те конфузились и продолжали угроблять патроны.

VII

Суетились вдвоем. Листики рэдиччо перебрали, вымыли, обсушили. Разорвали на кусочки среднего размера и на тарелочку выложили. Вымыли яблоки. На четыре части рубанули, сердцевину удалили и ломтичками порезали. В сковородочке маслице растительное разогрели, яблоки обжарили, ложечку уксуса добавили. На листики салата выложили. Аж потом передернуло от удовольствия! Куриную печеночку порезали, маленьчко ополоснули, на полотенчике бумажном обсушили. В муке пообваляли, в маслице сливочном обжарили. На салат и яблоки выложили. Слюна! Салатик цикорный подготовили, в жирочке попассеровали. Соли, перчика. Выложили к печеночке. Уксус остался, маслице растительное, горчица, перчик; заправочку из этого пригото-

ли, полили. Готово! Минут пять сидели безмолвно. Уставились. Глаза – блеск! Все тело дрожит. Схватил один ложку. Загреб. В пасть. Зажевал.

– Ну?! – нетерпеливо.

– Хуйня, – обреченно.

Вывалили в помой.

VIII

Рыбак Давыдов пошел удить рыбалку и очень заблудился в камышах. Наживку сожрал, маленькую водки, огурцов малосольных было с собой – тоже посьел. Наудачу, заплутали в камыши грибники. Так еще маслят пожевали втроем!

IX

Снасильничал как-то мужичонка девку впотьмах. Да, в них же, не заметил, что она страшна аки медуза Горгонская. А она давно это заметила... Шибко невеселая свадьба была. Да еще мужики какие-то незнакомые попередрались.

X

Роголин Сергей банку мыл – рукой застрял. О стол ее бахнул – уцелела. Все выходные обо все ее колошматил, а она никак. В будень в штанинную карманину ее просунул и на работу. А застрял писчей рукой. А работа писчая. Сидел весь день, банку по столу катал. Коллектив унизительно ве-

селлся, но он терпел и катал. А потом рыбок в банку завел. Они красивые. Плавали, успокаивали... Пальцы ему жрали на писчей руке.

XI

Маленькая Альбина игралась в «жаба, жаба – засоси» и доигралась по шею. Торчит из грязи головешка детская, орет жалостливо. Бабушка Паша мимо шарилась, Альбиночку пожалела попыткой спасти. Рыла вокруг головешки настойчиво совочком, но «жаба, жаба – засосала». Наступила тогда старушка кедой аккуратно на альбиночкину макушку, и погрузила проказницу в грязь полностью. Бабушка Паша – лифтер.

Проходимцы и куплетисты

Балабановский трамвай, позванивая, пересекает проспект.

В это время, из села Вагиново, на лыжах, выехала группа лиц. В спину им нагнетала тяжесть известной поговорки, в шары светило солнце, а впереди маячила перспектива. Она явно была весомой, потому как из Вагиново настолько эффектно не выезжали никогда. Группа лиц была молчалива, чмыревата, пугала зайчишек запахом житейского опыта и вынуждала глухарей зарываться ещё глубже. Лыжники были обряжены в скоморошечью рванину, на плечах их покачивался гроб. В гробу покоилось соломенное чучело. Впереди, в версте от лыжников, кто-то похожий на медведя ломился сквозь лесную чащобу и, время от времени, ошарашивал небо залпом сигнальной ракеты. Картину прекрасно бы дополнял волчий вой, но в Вагиново всегда было настолько тепло и темно, что они предпочли всегда находиться там. К тому же, местные волки боялись других, чужих волков. А, как говорить, волков бояться – в лес не ходить. Да и какого черта там делать.

* * *

Мамлеевские шатуны, пошатываясь, приссыкали метафизи-

зический реализм плотными струями постмодерна.

В это время, Степана Ловцева глючило. Прямо пёрло. Кожежило. Он обожрался нейролептиков, чтобы за ним всюду не таскался призрак старика из советского мультика «Кентервильское привидение». Такой же на вид, но высоченный, под потолок, не гремящий цепями и не завывающий печальным плачем о кровожадной молодости.

– Каво надо? Не ходи за мной! Обломайся! – паниковал Ловцев и ежился в мешковатый шмот.

Но дед продолжал ходить. Влачил. Ближе к обеду, в его руках появился желтый и некрасивый таз с кровью, куда фантом периодически подкрашивал капустки. Косплеил борщ.

– Жрать ты, что ли хочешь? – недоумевал Ловцев. – Так, а как я тебя наторкаю? Ты же галлюн мой...

Вопросы оставались открытыми, а содержимое таза выглядело все гаже. Отяжелевшая голова Ловцева открыла ему рот и повалила просиживать подоконник. Не хотелось и не чувствовалось ничего. Лишь язык беспрестанно щупал обломки зубов, извиваясь во рту червем.

Старик присел рядом, таз бережно уравновесил на коленях. Пахнуло сырым холодом. Обреченно молчали. Внутри дома, кто-то смотрел «Poradnik Uśmiechu». Громко. Настолько, чтобы не спутать ни с чем. Гремели посудой. Мерзко. Так ей гремят в больничных отделениях после ужина.

Или в детских садиках, после любого употребления пищи.
Закатное солнце кромсало красным коридор.

– Полезай в таз, – проскрипело из деда. Губы его были плотно сомкнуты.

– Чего? – встрепенуло Ловцева. – Обломайся!

– Полезай. Тебя попустит.

Жидкость в тазу доверчиво плеснула о края.

– Давай, не тупи.

Где-то грохнуло и разбилось вдребезги.

– Что ты делаешь, еб же твою мать! – вырвалось в сердцах женским голосом. – Миша, я же, блядь, попросила – посиди с ребенком!

– Полезай.

– Да не влезу я. – Степан ладонями надавил на глаза, передергивая плечами. – Липко там. И беспонтово.

Хотел еще что-то пронять, но ударился подбородком о посудину, хлебнув содержимого, и закашлялся от попавшего в рот обрывка капустного листа.

– Ты чо мутишь, пидор!

Старик еще раз клацнул Ловцева головой об таз, ткнул мордой в дно, придавил. Тот, в попытке дернуться обратно, уперся руками в края посуды. Кентервильская галлюцинация намертво впечатала Ловцева в жижу. Она бурлила, становилась размахом с бассейн, потом с озерцо, и, наконец,

кисло ударила в нос морской гнилью. Вместо бульканья, начали проступать звуки, складываясь в нерешительный текст:

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.